

*Памяти участников
Великой Отечественной войны —
крестьянина Дмитрия Петровича Чалого
и писателя Федора Александровича
Абрамова*

1

-Д

едя! — то ли обрадовано, то ли напугано выкрикнула дочурка, стоявшая в коридоре.

— Гостем деда заявился. Не ждали? — сказал-спросил привычно отец.

— Отчего, ждали. — О его приезде, действительно, я знал загодя. Сам отец за телефонную трубку не брался, а дядя по его просьбе шутейно известил:

— Завтра дома кто у вас будет? Батько в деревне засиделся, хочет в городских побыть. Овчину, говорит, сдам и с внучатами погостюю.

После я представил, как в ту минуту слушавший рядом переговоры отец про себя чертыхнул дядю за язычок распоследним словом. Ведь о своем намерении отвезти заготовителям овечью шкуру отец сказал, конечно, мимоходом. А дядя выставил как главную причину поездки к сыну.

— Ни завтра, ни послезавтра со шкурой тут нечего являться, — раздраженно отвечал я. Не сдержался. — Сгорит она, что ли. (Знаю, щедро просоленная овчина, ладно сложенная «конвертом», в подвальной прохладе — всегда в сохранности). — Почувствовав, что вгорячах слишком резко всего, убавил пыл. — При первом случае машиной отвезем.

— И я о чем толкую, — соглашался дядя.

— Сгниет она — невелик убыток. — Нет, так не сказал я, про себя подумал, зная, что в сутолочной маете не скоро исполню обещанное.

— Без овчины пусть приезжает.

— А то и на порог непустишь. Так и передаю...

Послушается, оно и похоже. Разбираю сумку с гостинцами, а сверху лежит скатанная валиком мешковина, пропахла овечьим духом. Только глянул исподлобья на отца. Он же вроде и не заметил моих камней в осерженных глазах, уже держал Татьянку на коленях, пытался вникнуть в ее птичий щебет.

Нет, отец был не из прижимистых. Сколько помню: как ни худо-бедновато жили, наша хата в праздничном застолье всегда с гостями, сходились отцовы и мамины друзья-подруги. В помощи соседям (а на селе всякий сосед) никогда не отказывалось. Богатства особого в доме не заводилось, хоть выделялся отец из деревенских мужиков мастеровитостью (избы ставил, оконные рамы и двери вязал, крыши крыл соломенные и железные, кадки из дубовых тросток делал и ведра из жести клепал, сапоги тачал и овчины чинил — оставаясь бессменным колхозным бригадиром, в чьи обязанности входили не просто «загадывать» — давать рабочий наряд людям, прежде всего — самому, скажем, братья за косу, выкладывать-вершить возы и стога с вилами в руках).

Выделяла отца, на мой, конечно, взгляд, дотошная бережливость, вдобавок к натуре привитая и самой жизнью, в какую вместились — сиротское детство, пережитые голод (и не один), война (и не одна). Человека он ценил прежде как хозяина в доме и в колхозе. Терпел любые слабости, но только не бесхозяйственную расхлябанность. Тут уж ты в его глазах был непрощаемо пропащим.

Конечно, и я, как газетчик, и дядя, как колхозный парторг, теперь то по должности ревностно пропагандировали именно экономию, именно бережливость, отводя им место в ряду лучших человеческих достоинств. Однако:

— Быть рачительным, но не до такой же степени! — Разумом понимали отца, чувством (дети иного времени) не соглашались. Потому один подтрунивал с подначкой, я озлился молча.

— Приспела нужда тащиться с этой чертовой шкурой через весь городок!

О нужде подумалось не зря: день выбрал отец не совсем удачный — май, а солнце пекло пол-летнему, в безветрии пыль держалась на улочках непродыхаемо. А может, моя злость подогревалась вдобавок и гадливым чувством: отец корреспондента с заплочным оклунком?

В тот момент не приходило на ум, что отцов пример не минул бесследно. Благодаря прежде всего ему, встав на собственные ноги, приучил себя, собственную семью жить не по-цыгански — одним днем, сыты нынче и ладно.

За обедом надуманная обида вконец растаяла в разговорах, когда Татьянка, обрадовано ухватившись за уголок одеяльца, с блаженной улыбкой засопела в кровати.

Перед борщом отец с нескрываемым удовольствием принял чарку. Вино он любил, помоложе был, выпивал — даже слишком крепко, не ошибаясь говорил, что и сыновью долю наперед осилил. Правда, здоровья хватало, пил не до болезненной грани, хворающим с похмелья не был, поутру всегда на ногах. Когда хвори пристали, доктор сказал, надо бросить не то курево, не то чарку — на выбор. Цигарку не выпускал из губ сызмалу, бросил же на пятьдесят каком-то году в один день и не притронулся к ней. Когда попозже врач по моему наушному совету запретил ему и вино, вконец не смог отказаться, лишь завел себе маленькую стопочку.

В застолье к выпивке «на равных» собеседника не понуждал, исходя из немудреного житейского правила: всяк сам знает свою мерку. В сыновьях тягу к вину вообще не одобрял, и сейчас ему, кажется, глянулось, что себе я налил в рюмку воды.

Похождения с овчиной — в них он меня посвящать не стал — сморили-таки отца. Согласился прилечь на диване, а я себе на полу разостлал полушубок. Так, лежа, и говорили неторопливо.

Укос трав ожидается богатым. Хлеба тоже уродились, майского дождя ждут. С картошкой в огороде не прогадали тем, что посадили рано, первоапрельское тепло не обмануло. Получилось так случайно: со старшей дочкой я поспешил в гости, боясь, что к следующим выходным дням поездка не выпадет, настоял сажать картошку, пообещав: вдруг подмерзнет — сам пересажу. Допытывался отец, как в колхозах у соседей сложилась весна. О семейных делах ему обсказал, записывая в памяти просьбы — разыскать в магазинах дверные завесы, шланг к опрыскивателю — колорадский жук выполз на картофельные кусты, купить цветастых цыплят — белые куры матери надоели...

Текла обычная беседа — вдруг отец приподнял голову на локте, взгляделся мимо меня, в стеклянную дверцу книжного шкафа, встревожено спросил:

— Постой, это про него, — он взглядом указал на фотографию писателя, — на днях по телевизору сказали: скончался скоропостижно?..

2

В застекленном проеме стояла вырезанная из книжки фотография Федора Александровича Абрамова. Снимок несколько не писательский: шагает наезженным сельским проулком человек совсем деревенский обличьем — куртка под вид привычной телогрейки накинута на плечи, штанины заправлены в резиновые сапоги, ворот рубахи нарастеежку.

— Дай ближе взглянуть, — попросил карточку отец, писателя Федора Абрамова знал он давно. В школе почти не учившийся, в чем не его вина, грамоту освоил сам основательно: мои школьные задачи по арифметике, самые заковыристые — с пустяками его не докучал — рещал с ходу. Что приметил я, когда сам студентом начал постигать филологические науки, отзывался отец о прочитанных книгах не то, чтобы самобытно, — прозорливо, точно определял жизненную цену случаем подвернувшемуся писанию. Тогда же привез я в начинавшуюся складываться собственную библиотечку книги Абрамова. Долгими зимними вечерами, телевизором еще не обзавелись, отец читал их матери вслух, увесистые томики не наскучили. И слезы, и смех, и удивление вызывали прочитанные страницы. Хоть речь шла о людях нездешней южнорусской стороны — о северной деревне, мать часто заключала услышанное одним:

— Про нас написано.

— Россия-то одна, — коротко, но веско объяснял отец. Суждение не заемное, повидал он на своем веку многое. Бывал, кстати, и в северных краях, о каких читал, выезжал туда с колхозной бригадой на лесозаготовку.

Но особенно зауважал он Федора Александровича, когда уже телевидение поспособствовало тому, позволило увидеть встречу писателя с читателями в Останкинском зале.

— Это же надо высказать всю правду, в глаза сказать на всю страну. — Не охочего к нравоучительным беседам, скуповатого на похвалу, отца точно до глубины — раз так заговорил — расположили исполненные совестью горечи, душевно близкие, созвучные его думам мысли писателя о неизжитых бедах текущего дня, о каких он не однажды выступал в печати. «Исчезла былая гордость за хорошо распаханное поле, за красиво поставленный зарод, за чисто скошенный луг, за ухоженную, играющую всеми статьями животину. Все больше выветривается любовь к земле, к делу, теряется уважение к себе. И не в этом ли одна из причин прогулов, опозданий и пьянства, которое сегодня воистину стало национальным бедствием? Не пользуется ли этим нероботь, разного рода любители легкого житья?»

В деревне нет недостатка в работающих, талантливых и совестливых тружениках. И у них болит сердце...»

Речь о наблевшем отец понял и принял именно так, как после толковал ее Валентин Григорьевич Распутин: «Есть Народ как объективно и реально существующая в каждом поколении физическая, нравственная и духовная основа нации, корневая ее система, сохранившаяся и сохраняющая ее здоровье и разум, продолжающая и развивающая ее лучшие традиции, питающая ее соками своей истории и генезиса. И есть народ «в широком смысле слова, все население определенной страны», как читаем мы в энциклопедии. Первое понятие входит во второе, существует в нем и действует, но это не одно и то же. И когда Шукшин с уверенностью говорит, что «народ всегда знает правду», он имеет в виду душу и сердце народа, здоровую, направляющую ее часть, а когда Федор Абрамов обращается с известным письмом к односельчанам, упрекая их в нерадивом хозяйствовании, он не Народу адресует свои справедливые упреки, а населению, которое составляет жизнь и труд родного ему поселка. И составляет, кроме того, часть всего народа — как населения».

— Обсказал, как живем-кормимся. Что значит — из мужиков человек, — рассудил тогда отец.

— Вся страна из крестьян вышла, — обронил я.

— Мужиком остался в писателях. Как Шолохов в казаках, — настаивал на своем отец. У него не было выше похвалы писателю, как этой — что Шолохов.

Впрочем, я сам думал примерно так же — на глазах рождается народная книга, родня «Тихому Дону» — когда студентом читал «Две зимы и три лета», когда кинулся по библиотечным закромам на розыски начального романа «Братья и сестры», давшем впоследствии чистое православное молитвенное имя всему величавому художественному полотну.

И вот теперь-то отец долго глядел на фотографию, сохранившую совестливо твердый взгляд в лице, уверенный шаг на родимой земле — русского писателя и крестьянина.

Горечь утраты выказал заметно дрогнувший голос:

— Жить бы ему да жить.

Схоже потерянно повторял и я, когда ранним утренним часом прозвенел долгий телефонный звонок междугородней связи и друг тихо слышным, срывающимся слогом известил оглушающе о кончине Федора Александровича.

3

Не ведая о том, Федор Абрамов в судьбой отпущенной дороге — мне, смею верить, как и моим душевным содрузгам, — был за «крестного» отца.

Смысл в вышенаписанное вкладываю не только переносный, хотя значимее, конечно, именно он. Ведь не одному поколению и незабвенной памятью (горько, но могло статься — была жизнь, а о ней в слове никто и ничего не оставил), и в добрую науку (чтобы не казалося — все начинается только из нашего детства) — не канувшее в небытие благодаря летописцу житие крестьянского рода Пряслиных, чьими руками и плечами держалось наше государство в середине текущего века. И стоит поныне. Не без умысла писатель одарил любимых героев звучной фамилией: ведь прясельных мужиков в старину наряжал сельский мир присматривать за околичной изгородью, говоря языком русской былины — держать застава богатырскую. А деревенская нива в дни войны и мира для народа всегда остается надежной опорой. Не потому ли ее сыны и на современном литературном покосе достойно «устроили» и укрепили славные традиции отечественной словесности.

В ряду косцов-писателей не только по алфавиту первым ставится имя Федора Абрамова, в чью записную книжку однажды легли раздумья о собственном ремесле:

«Одно из главных назначений писателя — поддерживать в духовной форме свой народ».

Этой заповедью он жил.

Первый роман «Братья и сестры» помечен 1958 годом. Тому, кто брался его читать, становилось ясно: в литературу пришел большой писатель.

Начало таким бывает редко.

Объяснимо оно, прежде всего тем, что первая книга создавалась человеком зрелым. Год рождения — 1920-й. Горькое сиротством детство. Пройдены фронты Великой Отечественной, раны на теле, на душе тяжелой памятью — война. О ней напоминают на борту парадного костюма медали, орден Отечественной войны II степени.

Важные факты в военной жизни Федора Абрамова обнародованы в изданной в 2003 году в Санкт-Петербурге документальной книге В.Н. Степакова «Нарком СМЕРШа». Название созданного в 1943 году Главного управления контрразведки означало — «смерть шпионам».

«Исследователь С.П. Кононов обнаружил в архивах ФСБ Архангельской области уникальные документы, свидетельствующие, что с апреля 1943 года по октябрь 1945 года в отделе СМЕРШ Архангельского военного округа служил Ф.А. Абрамов, позднее ставший известным русским писателем. Остановимся на этом факте подробнее и, с позволения Сергея Кононова, воспользуемся его материалами. Это необходимо сделать не только из-за неизвестной страницы в биографии писателя, но и потому, что благодаря «стараниям» псевдоисториков и псевдоветеранов у определенной части нашего общества сложилась искаженное мнение о тех, кто служил в СМЕРШе.

Зимой 1942 года Федор Абрамов, после тяжелого ранения на Ленинградском фронте, был эвакуирован в госпиталь города Сокол. Затем вновь военная служба: сначала в запасном стрелковом полку в Архангельске, позже — в Архангельском военно-пулеметном училище.

В училище на него обратили внимание сотрудники СМЕРШа. «Образованный с боевым опытом старший сержант Абрамов не мог не попасть в поле зрения кадровиков органов безопасности, испытывающих дефицит в кадрах. Особо кадровиков привлекло знание Федором Алексеевичем иностранных языков. В «Анкете специального назначения работника НКВД» в графе: «Какие знаете иностранные языки», молодой кандидат на службу написал: «Читаю, пишу, говорю недостаточно свободно по-немецки. Читаю и пишу по-польски».

17 апреля 1943 года Абрамов был зачислен в штат отдела контрразведки Архангельского военного округа на должность помощника уполномоченного резерва. Однако уже в августе он становится следователем, а через год с небольшим — старшим следователем. Правда, эта служба Федора Александровича началась не слишком гладко. Как-то раз, в одном из разговоров с сослуживцами, он высказал мысль о том, что не видит смысла в конспектировании приказов Сталина, поскольку это отнимает много времени и сил. Кто-то усмотрел в этом высказывании крамолу и доложил начальству. Грянуло служебное разбирательство, которое окончилось тем, что вольнодумец написал объяснение, удовлетворившее даже самых бдительных товарищей.

«...приказ тов. Сталина является квинтэссенцией мысли, каждое предложение, каждое слово его заключает в себе столь много смысла, что в силу этого необходимость конспектирования приказа в принятом значении сама собой отпадает.

Я сказал далее, что приказ тов. Сталина представляет собой совокупность тезисов, дающих ключ к пониманию основных моментов текущей политики, и что каждый тезис может быть разработан в авторитетную публицистическую статью. В том же разговоре я обратил внимание на изумительную логику сталинских трудов вообще, что не всегда можно найти в речах Черчилля и Рузвельта, на сталинский язык, обладающий всеми качествами языка народного», — написал в объяснительной Федор Абрамов.

Дело о его политических сомнениях и незрелости дальнейшего развития не получило, и начинающий контрразведчик спокойно приступил к выполнению своих прямых обязанностей.

Борьба с разведкой и диверсантами противника на территории Архангельского военного округа была главной задачей отдела. Контрразведывательное обеспечение велось в Архангельской, Вологодской, Мурманской областях, Карельской и Коми автономных республиках, где вражеская активность была чрезвычайно высока. Так, осенью 1943 года в Вологодской и Архангельских областях на парашютах было выброшено 27 разведывательных и диверсионных групп. Как удалось выяснить С.П. Кононову, следователь СМЕРШа Абрамов принимал участие в ликвидации восьми групп.

С осени 1943 года постоянным местом его командировок становится Вологодская область. «Опыт, накопленный за год работы по разоблачению немецких агентов, образование, полученное в университете, знание психологии, военный опыт, позволяющий разговаривать как фронтовик с фронтовиком, пишет С.П. Кононов, сделали из Федора Абрамова хороше-

го специалиста-контрразведчика. Ему поручили участвовать в одной из радиоигр с немецкой разведкой. Игра получила название «Подрывники» и вошла в золотой фонд операций против немецкой разведки во время Великой Отечественной войны.

Органы НКВД Вологодской области совместно со СМЕРШем Архангельского военного округа создали легенду, что на территории Сямженского и Вожегодского районов существует многочисленная группа недовольных советской властью переселенцев с Западной Украины, готовых начать повстанческое движение. Нужна помощь. Немецкая разведка клюнула на это и осенью 1943 года выбросила группу своих агентов под руководством Григория Аулина у разъезда Ноябрьский. Они должны были начать организацию этого самого повстанческого движения и проведение диверсий на железных дорогах.

Группу задержали и включили в радиоигру. Немецкое командование поверило в возможность работы в глубоком тылу русских и 1 ноября 1943 года выбросило десант диверсантов из 14 человек для соединения с Аулиным. Несмотря на трудности, всех парашютистов задержали. Старший немецкой группы Мартынов был ранен и застрелился из нагана, так как сдаваться не хотел. Через десять дней «на Аулина» немцы в Харовском районе выбросили еще троих диверсантов и 14 грузовых парашютов с оружием, взрывчаткой, деньгами и обмундированием. Старший группы Федор Сергеев сразу же согласился работать на нашу контрразведку, и его рацию включили в новую игру. Этой игре дали название «Подголосок» и назначили ее руководителем Федора Абрамова.

Абрамов через рацию Сергеева передал немцам, что группа Аулина не найдена. Фашисты приказали Сергееву работать самостоятельно. Долго их «водили за нос» работники СМЕРШа. Две радиации подтверждали данные, передаваемые немецкой разведке, что делало игру очень правдоподобной, и враг полностью верил им.

За успешную дезинформацию противника лейтенант Федор Абрамов был награжден именными часами. А «Подрывники» еще долго «действовали» на Вологодчине. Немцы весной 44-го последний раз сбросили им 28 грузовых парашютов и двух агентов. И хоть фронт откатился далеко, но «дезу» контрразведка СМЕРШа передавала чуть ли не до конца войны».

После Победы ректор Ленинградского государственного университета профессор А. А. Вознесенский выступил с ходатайством:

«Генерал-майору Головлеву.

Прошу демобилизовать и направить в мое распоряжение для завершения высшего образования бывшего студента 3-го курса филологического факультета Ленинградского Университета, ныне военнослужащего, находящегося в Вашем подчинении т. Абрамова Федора Александровича.

Тов. Абрамов за время своего пребывания в Университете зарекомендовал себя как способный и дельный студент, и есть все основания полагать, что из него выработается полноценный специалист-филолог, в которых так нуждается наша страна».

22 октября 1945 года служба Федора Абрамова в рядах СМЕРШа завершилась.

И вот — уже позади учеба на филологическом факультете Ленинградского университета, научная работа, заведование кафедрой советской литературы.

Защитил диссертацию, писал критические статьи. Становился известным как ученый-литературовед.

И вдруг — переход на писательскую тропу.

Слова «и вдруг» пишу под впечатлением рассказов встретившихся мне университетских учеников Федора Александровича.

— Никогда бы не подумал, что Абрамов будет таким известным писателем. Мы с ним в партком вместе избирались. С виду человек больше из ученого мира: суховат в разговорах, деловит в общественных хлопотах.

Так, нередко, обманчиво наше лишь внешнее впечатление о человеке.

А герои первой книги, их судьбы стали основным делом для Абрамова на десятилетия. Ради них жил. Продолжением «Братьев и сестер» явились «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья». Четвертый роман «Дом» венчает — какой и суждено ей быть стать — главную книгу Абрамова, по завершении нареченную как нельзя более сердечно, «очень важным для нашего народа названием» — «Братья и сестры».

От мощного корня вершинной книги самородной порослью в отечественной литературе россыпь повестей и рассказов, статей и выступлений — скрепленных одной набатной думой: «Если есть такой писатель Абрамов, то его главное... — будить, всеми силами будить в человеке человека... Народ умирает, когда становится населением. А населением он становится тогда, когда забывает свою историю».

4

Раз лежит душа к слову, понятно и объяснимо желание сопутствовать боготворимому тобою мастеру. Бездельно докучать никогда бы не стал, а тут сам явился повод.

В беседе с корреспондентом, кажется, «Литературной газеты» писатель сказал о том, что закончил работу над третьим «пряслинским» романом, название ему дает «Осенние костры». А в то время в Воронеже выходила схоже поименованная книга, к тому же заголовок мне показался больше очерковым, изрядно затрепанным от частого повторения в газетах, да и не ложился он (опять-таки, по моему мнению) к повествованию. Об этом я и отважился написать Федору Александровичу, отправив письмо в адрес редакции газеты.

Вскоре пришел ответ.

«Очень тронуло меня Ваше письмо, Ваша забота. Спасибо! Да, Вы правы: лучше было бы, если бы «Осенние костры» существовали на свете в единственном варианте. Но унывать из-за этого тоже не стоит. Вспомните: сколько, например, «Кавказских пленников» в русской литературе!..»

Не берусь утверждать — мои ли сомнения, иные какие обстоятельства сказались при окончательном выборе имени новорожденной книги, но в журнале роман печатался под хорошо известным теперь нам названием «Пути-перепутья».

С перепиской к Федору Александровичу (хоть он и обозначил мне свой домашний адрес) навязываться не стал. Настырная назойливость всегда неприятна в человеке. А поговорить было о чем — уже сам писал и терзался: а за свое ли дело берусь?

Время спустя письмо Федору Александровичу я все же написал. Правда, изведал не о собственных мучениях над словом. Как-то сложилось, что литературная критика особо не жаловала книги Федора Абрамова. Он сам об этом говорил вроде и шутливо, но с понятной горечью: «Не всегда

меня понимали, были по поводу меня разные документы в печати, критические статьи и прочее... И даже там, где раньше я был представлен как турист с тросточкой и так далее, сегодня уже видят гражданственность и самую активную позицию автора. Но это в порядке вещей. Я критикую, критикуйте и меня, почему же нет... Худо, когда у нас иногда облыжно, бездоказательно лупят просто дубиной по башке — вот это плохо». Прочтя такие-то статьи, я в утешение, что ли самому себе, писал: читательские суждения о творчестве писателя складываются не из мнений критиканствующих, книги сами ратуют за себя.

Изливал мысли на бумагу, скорее всего, в ребячьей запальчивости сбивчиво. В ответном письме суть затронутых проблем Федор Александрович разумно не стал обсуждать, отписал коротко: «Спасибо за добрые слова о моих книгах». Почувствовал он, что нужно мне сказать более важное.

«Судя по всему, Вы сами скоро будете писать оные. А может быть, уже пишете? Есть, есть у вас чувство. Но этого для писателя еще мало. Писатель начинается с мысли, со своего особого взгляда на мир, на человека. И вот этого-то как раз многим пишущим у нас и не хватает».

Выписав из письма, помеченного февралем 1973 года, важные строки, принятые душой, как напутствие перед дорогой, в которой, понимал, тебе никто и никогда не сможет помочь, — я, признаюсь, запнулся, боясь сбиться на велеречивость, долго не мог подобрать слова, чтобы сказать точнее о том, в чем меня утвердил совет мастера. Выручили вспомнившиеся стихи Александра Трифоновича Твардовского, любимого Абрамовым: «За свое в ответе, / я об одном при жизни хлопочу: / О том, что знаю лучше всех на свете, / Сказать хочу. И так, как я хочу».

Вес собственному труду чувствуешь сам. Отклика людского ждешь, выверяя себя — не ошибаешься ли самонадеянно? Не без душевной тревоги уже свою книжку послал Федору Александровичу. Как бы чувствуя мое нетерпеливое ожидание, не замедлил прислать открытку. Выпала она на пороге из газетного листа. Не раздеваясь, в коридорном полумраке еле разбираю трудноразличимый почерк:

«Начал читать: есть слово».

5

— Думалось: буду в Ленинграде, постараюсь встретиться, — говорил я отцу...

Помянули с ним добрым словом Федора Александровича. А тут и Татьяна порушила тихую беседу. После сна глазята заголубели синью апрельской пролески, вот уж чем удала в деда внука. Как тут отпустить ее с колен. Да засигналил с улицы колхозный грузовик, минуты спустя и деревенский сосед, шофер Николай, встал на пороге:

— Заехал, как и обещал. А дед не надумал в гостях еще остаться?

В городской квартире, в этом привычном многим из нас густооконном улье, пожить дедового терпения хватило от силы на пару дней, больше не выдерживал, начинал маетно слоняться из угла в угол, не придумая, куда прислонить не завыкшие быть в безделье руки. Конечно, он суетно ухватился за пиджак, стал отыскивать невесть куда положенную матерчатую фуражку-пятиклинку.

— Ты, Николай, уговор помнишь? — попутно допытывался отец у соседа, живя уже домашними заботами. — Свечереет — сено перевезем. Всего две копешки...

В окно поглядели с Татьянкой, как укатил грузовик. Вроде и не гос-тил деда, как привиделось...

На исходе май обломился желанными ливнями. Люблю дождь все-гда, а тут что-то не порадовал. Тягостно тянулась бессонная ночь, не по-легчало на душе от омытого свежестью воскресного утра.

— Ехал бы в деревню, — посоветовала жена сочувственно.

И рад туда податься, не получится: километров пять твердой дороги не довели еще строители к селу, а после такого ливня в грязь не сунешь-ся — черноземье. Но ехать пришлось.

Стараясь голосом не выдать тревогу, дядя известил:

— Отец приболел, фельдшерница просит срочно привезти врача-тера-певта.

По пустякам меня из деревни никогда не тревожили. Собрался быст-ро: дома был знакомый доктор, уважил мне, спасибо, с ходу собрал свой рабочий портфель; отчаянно вел грузовичок друг, не увязли колеса в груз-кой колее.

Врач мыл руки, готовил приборы-инструменты и заодно расспраши-вал: как случилось? Мать отвечала с нескрываемой мольбой во взгляде, веря доктору, как единственному спасителю. И он дотошным разговором вселял надежду в то, что все обойдется.

— Вчера голова у отца побаливала. Утром не жаловался. Встал и за-собирался на ставок, вроде потрусить в верше рыбу, она там никогда не ловится, надумалось пройти, как по делу... С пруда вернулся, в руках пусто. Сказал, что за огородами выбрал покос. Трава там в колено, все одно скотина вытолчит... Зашел в хату. Сел на диван. Глянул на меня, как хотел еще что сказать — и молчит. Как-то непонятно молчит. К нему — не отзывается, не двинется. Вижу неладное, отобрало разом все. Я тут же бежать к Андрею, брату, да за фельдшерницей...

Врач осмотрел отца, недвижно лежавшего на диване — как уснул, высоко вздымалась грудь от тяжелого дыхания. Приборчиком несколько раз смерил давление тока крови. Глянул и на оставленные фельдшерницей разбитые склянки ампул.

После отозвал меня в другую комнату.

— Рядом был бы на ту минуту — не помог. Отработали свои сосуды, сильное кровоизлияние...

6

Осиротил месяц май.

Двумя могилами стало больше на земле. Родными мне. Стою мыслью у изголовья вашего и дума моя об одном.

«Родителей не помню, — при случае говорил отец. — Рос у дяди. С пяти лет он определил меня в погоньчи, чего задарма кашу есть. А мне водить лошадей по полю из края в край приедается, позабавиться еще хочется, пну незаметно ногой земляной ком под копыта, кони напуганно сбиваются с шага. Прыгнул в борозду, а я вроде серчусь на них, повисаю на поводьях от усердия. Таю про себя, тешусь; выпряжет дядько лоша-дей, скажет, на водопой пора. Солнце припекает. Вот прокачусь с ветер-ком. А дядя подходит, по спине батоном как протянет наотмашь — и за-крутился я клубком, подал голос побитой собачкой».

В школу (прим. — П.Ч.) «...не приняли, потому что я был сын серед-

нячки, — ложились личные воспоминания в один из рассказов Федора Абрамова. — ...О, сколько слез, сколько мук, сколько отчаяния было тогда у меня, двенадцатилетнего ребенка! О, как я ненавидел и клял свою мать! Ведь это из-за нее, из-за ее жадности к работе (семи лет повезли меня на дальний сенокос) у нас стало середняцкое хозяйство, а при жизни отца кто мы были? Голь перекатная, самая захудалая семья в деревне».

А сиротские обиды сызмалу ведь не озлобили вас, росли — людьми.

Отцово жизнеописание: «Из сельской комсомолии кому проще срываться с места, ни кола-ни двора — вызвался на Амур ехать, новый город строить. В дороге сняли с поезда беспамятным, тифозным, не знаю, как с того свету выкарабкался. Попал на другую стройку грабарем-землекопом, в Воронеж на каучуковый завод — резиновая обувь на машины была нужна в стране. А после на отчину потянуло, в колхозе остался, женился — когда война призвала на полный срок».

«Но самая большая радость в моей жизни, — говорил Федор Александрович (дважды раненый, второй раз очень тяжело), — это то, что я прошел через войну и остался жив, ...у нас уходило сто с лишним ребят с курса, большой был курс, а вернулось человек девять, в числе их я. Мне страшно повезло, конечно, я был в переплетах самых ужасных: так, через Ладугу пробирался уже в апреле месяце, там машина одна впереди, с ребятишками блокадными, другая — с ранеными сзади, пошли на дно. Наша машина как-то прошла под пулеметами и под обстрелом, под снарядами...»

Обязан, «должен жить и работать не только за себя, а и за тех, кого сегодня нету». От отца этих слов я не слышал, но жил он именно так — на колхозном покосе, до самой — к его возрасту впервые усроченной селянину — пенсии и с выходом на нее. Было, рубаха на плечах выпадала латками от вьевшейся в материю соли. Снимал плащ, когда из ледяной купели вытаскивал сено на затопленном талой водой лугу, а смерзшая одежда, как жестяная, стояла не ломаючись. Ночью скрипел зубами от ревматических болей в костях, а чуть светало — ехал в поле, хлебопашествовать.

И в то же время жил писатель из отцовского поколения, честными книгами утверждал, что и «словом все делается».

«Когда умру я... скажите обо мне, люди, напишите на могиле: вот человек, который не наработался за свою жизнь», — говорил Федор Александрович близким в последние дни. Говорил не только о себе — о моем отце, Дмитрие Петровиче, о таких, как они.

В земле Русской ваш вечный покой.

С черноземного всхолмья — неохватная даль степной стороны, в какой распаханый косогор, лощина с одиноким кустом колючей маслины и — поля да поля. С высокого северного угора виднеются луга, холодная Пинега, песчаный берег за рекой, полуразрушенный монастырь и — леса да леса.

И там вы, как всю прожитую жизнь:

«...на юру. Все ветры в дом, каждая погода в окно. Умные-то люди другими прикрываются, а ты — ума нету — вылез.

— Ничего. Сроду за спиной у других не жил и теперь не желаю».

...Клоню голову перед вами, спрашиваю себя — смогу ли так, как отцы — не за чужой спиной?

ПЕВЕНСКИЕ НОЖИ

Во второй класс я тогда перешел.

С соседом Мишкой пасли стадо хозяйских коров. Днем раньше был мой черед, пасли за Голубку, а сегодня — за Мишкину корову. Вдвоем ведь легче.

...После апрельских грозových обвальных ливней трава прямо на глазах отрастала, огненной зеленью враз окрасила непаханные крутосклоны. Изголодавшиеся в зиму коровы никак не могут наестся, скубют сочно-травье, только хруст слышен и голов от земли не отрывают. А нам даже лучше, бесхлопотнее, меньше доглядывать за стадом. Устроились на песчаном обмыске меж круч и захватываем друг у друга чужие земли, по-очередно вонзая в четко очерченный круг складные ножички. Проиграл Мишка, как ни хитрил, ни выгадывал — на остатке его земли ногой уже некуда было ткнуться. Пришлось ему бежать за коровами, какие отбились от стада.

Мишка полетел, едва касаясь черными пятками земли, ему, наверное, очень хотелось поскорее рассчитаться за проигрыш. Потому он так спешил и орал — коровы только очумело шарахались в стороны и, недовольно ворочая обиженными мордами, возвращались к стаду. Самая норвистая телка умудрилась забраться в овражек. Мишка кубарем скатился туда, шуганул ее, с перепугу телка не знала, куда бежать, а приятель мой вдруг закричал во всю глотку:

— Алеша! Жми сюда!

Я прибежал.

На самом дне овражка в рыжей промоине лежали мины. Я сразу считал — шесть настоящих мин! Лежали ровным рядком, будто только что кто-то их под линейку раскладывал.

— Талой водой вымыло? — допытывался я.

Мишка тихонько притронулся к крайней. Рука не дрожала, но глаза так и впились в мины, другая пятерня судорожно сжала зависший над промоиной куст дерезы, вдруг что случится.

— Не трогай! — Как палкой, ударил мой голос по Мишкиной руке.

— Не каркай, дурак! Это тебе не ножичком играть, — зло отозвался Мишка. А я, в общем-то, и не боялся, разве самую-самую чуточку. Я завидовал ему, мне тоже хотелось спокойно протянуть руку к минам.

А Мишка обхватил одну из них пальцами, крепко сжал, даже ногти на руке побелели. Как сговорились, разом перестали дышать. Мина шелохнулась и поднялась в Мишкиной ладони. В желтом песке осталась вмятина.

— Глянь, какая, — шепотом отозвался Мишка. — Ни чуточку не поржавела, вроде вчера оставили.

Она и вправду была как новенькая — чистая, пузатая, с тоненькими ободками на тупом носу, у хвоста — ребрышки звездочкой. Очень походила одновременно и на ракету, и на атомную бомбу, какую рисовали в любимом детьми и взрослыми журнале «Крокодил», только что без буквы «А».

— Здорова! Такие летчики бросают по пехоте, летит — воеет, — стал пояснять Мишка. Счастливых глаз так и не сводил с бомбочки. — Я прыгнул чуть не на мины, смотрю — лежат. Слышь, жалко так бросать, давай взорвем. Ахнут — и в селе будет слышно.

Я заколебался:

— Вдруг убежать не успеем?

— Даешь ты! — рассердился Мишка. — Знай, с кем работаешь. Пройшей осенью с Колькой Рябенем не такую дуру взорвали.

Дальше не надо было ни уговаривать, ни понуждать меня. Затрепал под рукой прошлогодний бурьян, высохшие стебли полыни, ветки дерев, нашла и пошла в ход старая солома. Я только успевал подносить все, что годилось для костра. Основными делами занимался Мишка, как заправский минер. Ровно застал дно промоины, углубив вначале пещерку под нависшим краем. По ходу дела пояснил:

— Осколки будут лететь в землю.

Разложил мины. Завернул каждую, как куклу, в солому. Из остатков горючего материала свил жгут — чем не бикфордов шнур!

— А ты боялся. Да за километр успеем ударить, — важно и так высоко рассуждал со мной Мишка, ему нравилось быть подрывником. Он вытащил из тайника в полах истрепанного и затасканного матеиноного пиджака спички. Запахло дымком, и затанцевал он верх соломы желтыми язычками пламени. Мы вылетели из овражка и вмиг очутились в соседней круче. Ждем, понемногу высовывая головы, краем глаза поглядывая на костер.

— Горит! — шепчем друг другу. Над овражком курился пушистым хвостом дымок. Нас прямо колотило от нетерпения.

Сейчас! Сейчас!

...Время шло, а взрыва так и не было. Уже и дымок пропал.

— Не прогорелись, мало соломы подложили. Просил тебя, еще принеси.

Мишка не говорил мне об этом, но я молчал, он ведь был за минера.

К овражку идти теперь было боязно. Остерегались, вдруг в ту минуту да взорвутся, — чего только не бывает. И мы направились восвосяи к коровам. Снова взялись за ножички. Но уже не с маху, не с первого броска они вонзались в землю, было неинтересно. Ведь неподалеку, в потухшем костре покоились шесть почти как новеньких мин.

В тот день были еще находки — две обоймы целехоньких патронов и десятка три порожних гильз.

Но они не тянули к себе, эти строгие и грозные русские патроны с остро отточенными пулями — лучшие ребячьи игрушки. Мы, мальчишки, свободно отличали хоть с виду, хоть по начинке пороховой наши патроны от округлых немецких, от красиво фасонистых итальянских. Пули у них-то тупые, разве германцы смогли бы нас осилить, — рассуждали тогда об отпывавшей войне, какую нам, родившимся уже в мирные годы, в глаза не довелось увидеть.

Научил ребят многому Певен. На краю села жил одинокий старик. Никто в точности не помнил его настоящего имени, звали Певеном и все, не зная, что означает прозвище. Хозяйство — подслеповатая плоскокрышная хатенка в глухих бурьянах на неогороженном и открытом всем ветрам подворье. Блажным и бедным его числили только взрослые. А для хлопчиков Певен был самый богатый человек на свете. Те счастливики, кому удавалось побывать у него в гостях, расписывали взахлеб:

— Патронов у него, мать моя, углы завалены. Порох в ведерных банках. Штыки, кинжалы. — Рассказчик переходил на шепот и божился: — Наганы гожие есть. Сам видел: заграничный, черная ручка, как стекло, светится.

Кто-нибудь из пацанов не давал соврать — подтверждал. Он тоже слышал о певенских пистолетах.

Недоброй памятью в глубь лет уходила война, а старшие все говорят, что ею, войной, кормится старик. На раздобытках Певена видели в одном и том же месте — на Солончаковых буграх, самых высоких в здешней округе, откуда во все стороны света проглядывался на многие версты степной простор. Важное место для военного ремесла. Не случайно именно на этих высотах шли жестокие бои — и когда отходили наши к Дону, и когда погнали фашистов прочь. И хоть кинутые блиндажи-граншей-окопы осыпались, заплывали песком, зарастали колючим дурнотравьем — оспинный, шрамоватый след сражений устоялся на буграх невытравимо.

Певен являлся тут всегда с потрепанным мешком за спиной, крестнакрест перехвачен бечевками спереди, в руках — остро отточенная железная палка — пика. Старик вгонял штырь в землю, давил грудью, налегал на него своим тощим телом, пока посох не поддавался и начинал понемногу вонзаться вглубь. Если на пути попадалась железка, певенский миноискатель звякал, Певен брался за притороченную к поясу маленькую лопатку, тоже военного образца. Выкопанные куски алюминия, меди, свинца сразу же складывал в мешок. Железо старик забирал не всегда, оно старьевщиком ценилось дешево. Домой возвращался с доверху набитым мешком. От тяжести и без того сутулый Певен еще ниже сгибался, мешок покоился на спине большущим горбом.

После похода на окопы старик днями невылазно сидел в своей хатенке, перебирал добычу. Топил печь — в ней выплавлял на огне свинец из пуль. Гнул жезл, чинил-паял, а то и мастерил для кормивших и обстригающих его деревенских хозяек немудрую кухонную утварь, ведра, зерновые меленки и кукурузные терки-драчки — да мало ли дел ему приходилось.

Когда в село попадал коробейник-старьевщик, чаще его звали тряпишником, то свою телегу-одноколку с наращенным кузовом определял на постой к Певену. Там и загружался добром сполна.

Певен любил привечать мальчишек. Может, потому, что у него, сказывали люди, два сына полегли на фронте. Благодаря ему, у ребят не вывелились из карманов складные ножички.

Когда старик дома, у него всегда можно купить нож за полсотни медных патронных гильз, или за два яйца, или за кусок хлеба. Он делал их прямо на глазах. Потому покупатель обычно в окружении приятелей шел за новым ножичком.

Берет Певен жестянку, ровнехонько обрежет, стукнет пару раз молотком — готова ручка. Приклепает к ней обрубленный конец от старой косы, подточит его на камне — есть нож, податливо убирается лезвие. Так и прозвали их — складные певенские.

— Бери. — На хваткой, что кузнечные щипцы, костистой и крючатой ладони готовый нож. Хозяин его не знает, каким боком держать богатство, ребята ерзают — до того завидки берут. А Певен откидывает спину к стене, с веселым прищуром подмигивает единственным глазом, уцелевшим с какой-то неправдоподобно сказочной из-за давности лет японской войны. Вытаскивает кисет. Как только засинеет и запахнет в хатенке дым табака-самосада, затеваются рассказы, чаще всего о том, как молодым Певену довелось плыть теплыми морями-океанами в дальневосточную русскую крепость Порт-Артур. На всю доставшуюся ему долгую жизнь хватало воспоминаний об увиденных заморских дивах. Когда Пе-

вен был в настроении, доставал из запечка облупленную, но голосистую гармошку. Выпевала она в его руках плясучие барыню-матаню или гопак, выговаривала знакомые слова гордой песни о гибнущем, но не желающем пощады «Варяге», плакала о русских солдатах, навечно оставшихся на маньчжурских сопках.

Привечал мальчишек старый Певен. Ощастливил ножами, просвещал и берег от напастей — никто из ребят так и не видел, как он добывает свинец из пуль, никого он не брал с собой на окопы.

Не пускали туда и родители, пугали. Да мы не боялись, частенько бегали в степь, в поросшие бурьяном траншеи. Там можно найти все: патроны, кинжалы в ножнах, желтые палочки артиллерийского пороха, ракетницы, штыки, говорили — даже пистолеты. За медные гильзы у тряпишника выменивали глиняную свистульку-петушка или пищик с розовым шаром, который, если надуть дымом, полетит высь. Порох здорово горел, в особенности артиллерийский. В камышинку натолкаешь его, подожжешь — и на воду, как ракета плывет. Всему находилось применение.

Походы ребятами всегда хранились в тайне: дома узнают — трепки не миновать. Тайна раскрывалась, когда тревожным всполохом ударял гром среди ясна дня, а над окопами вставал черный куст дыма...

Солнце припекало. Ветерок разогнал легкий пух облаков за курганы и сам пропал. От жары и день казался длинным — долгим, уж очень медленно шло время к обеду.

— Мне надоело швырять ножик, — продолжал вспоминать Алеша. — Измерил ступнями ног свою тень и позвал приятеля — тот копался в патронах. — Миша! Пять холодков насчитал, пора к обеду гнать коров домой. Припозднимся, ругаться будут.

Мишка неспешно выпрямился, заметил на земле палкой вершину своей тени. Вымерял ее — переступал, ровно и плотно подставляя пятку одной ноги к пальцам другой. На «солнечных часах» у него тоже получалось пять ступеней — холодков.

— Пора, — подтвердил Мишка и тут же предложил, — пошли сейчас на мины поглядим. Успеем, — и, боясь услышать в ответ отказ, он убежал: — Ничего страшного, они уже холодные.

Мишка взрывал, он все знал. И мы пошли. Не торопились, спрыгнули в овражек. В промоине на месте костра холмиком высилась маленькая кучка черноватого, соломинками-прутиками, пепла. Мишка палкой тронул — зола рассыпалась в порошок, в сероватый такой. Прокопченные мины лежали целые и невредимые. Мишка постучал по ним, расковырял. Присели и разглядели их внимательнее.

— Не прогреблись, — заявил Мишка. — Костер слабоват. Говорил, еще тащи бурьян.

Запах пепла потухшего костра напомнил Алеше о том, что хочется есть. Так пахло только у летней печки на огороде, где мать готовила еду, чаще всего пшеничную кашу, запашистую, с дымком, печка ведь страшно курилась.

Кашу варили в армейском котелке. Когда выскребешь его, видишь, что донышко походит на молодой месяц, только на краях концы не острые, а округленные. На боку котелка нацарапаны гвоздем или ножиком буквы. Алеша все хотел прочесть, узнать, что написано. Не удавалось — буквы были не нашими.

А пшено хранили тоже в чужестранном, из добрых досок, ни щелочки, темно-зеленом ящике. На его длинной боковой стенке красный крест нарисован в белой окантовке. Алеша уже и подрост, а все катался на нем верхом, представляя себя — то кавалеристом, то водителем колхозного грузовичка-полторки. Мать частенько рассказывает, как она приволокла этот ящик из санитарной машины — итальянцы бросили при отступлении. Вспоминает, после короб забирал у нее наш молоденький солдатик из трофейной команды.

— Прошу оставить, а он никак не поймет, зачем.

Нам больше некуда прятать от мышей и сырости все пожитки. Я ему толкую: ящик вместо скрыни, сгорела она у нас, когда через село фронт проходил.

Скрыня — это сундук, с которым в давние времена невесту на деревне отдавали замуж. У матери, рассказывала, была большая скрыня, разрисованная узорами.

Внял тогда материным причитаниям другой, пожилой солдат, — и остался ящик в доме.

Вечером, укладывая спать, мать укутывала Алешу серым одеялом, тоже доставшимся с войны. Страх колючее солдатское одеяло. Но зато под ним тепло и всегда снились военные сны.

В макушку уже смотрелось солнце — самый полдень.

— Некогда нам было возиться с минами, — рассказывал Алеша, — покатали их по кострищу туда-сюда, покатали и побежали к коровам. Быстро собрали череду и натоптанными коровьими тропами выгнали ее на проселок, к деревне. Коровы шли ходко: напаслись, пить хотели, да и время свое знали. Кричать — «гь-я-а!», «гь-я-а-а!» — значит, идите — не приходилось. Весело и скоро шагали мы за стадом. Поднимали ногами полосы из дорожной пыли, старались, кто кого запылит сильнее.

И тут аж присели не только мы, но и коровы поприпадали на задние ноги — так ухнуло за спиной. Прямо приросли к земле. В ушах долго еще звенело, потом стало необычно тихо. А из овражка, где недавно сидели и катали бомбочки, медленно улетало в небо черное облако.

— Смотри, — наконец нашелся что пробормотать Мишка. Да я и без него видел — взорвались наши мины.

Домой возвращались молча, только гикали на отстававших коров.

Уже после обеда, когда снова гнали череду в степь, рассказали друг другу, как рвануло, как свистели над головами осколки. Миша даже огонь над оврагом видел. Он часто поворачивался к нему лицом — знал, что обязательно взорвутся наши мины. Ведь он взрывал их.

Только после обеда коровье стадо погнали пасти в другое место.

А в осеннюю грязь все жители сельца в один час, никто их подворно не скликал, высыпали разом за околицу. Прилетел вертолет из областного города. Темно-зеленый и с большущим красным крестом на боку, точь-в-точь как на ящике, на котором Алеша маленьким любил кататься верхом. Показались люди в белых халатах и с носилками в руках. На них они несли Мишу. Вернее, не Мишку, а оснеженную грудку простынь, бинтов, закрывших его недвижимое тело. Рядом, поддерживая носилки, вприпрыжку хромал деревенский фельдшер Анатолий Капустин. На всю околицу голосила, рыдала Мишкина мать.

Беззвучно плакали женщины, то и дело прикладывали к помокревшим глазам чистые уголки головных платков. Смурными толпились мужчины. Закусив губы, смаргивала слезы ребятня, для них беду скрадывало все же первое явление в селе вертолета, увозившего Мишку в больницу. В этот раз он ошибся, хоть уже и взрывал мины.

И еще трое мальчишек просчитались, не убереглись, подорвались этой же осенью вместе, им и больница была не нужна. Все трое — Алешкины годки.

Не пощадила судьба уж на что осторожного Певена, лишился единственного глаза. Выплавлял на огне свинец из пуль, а одна из них оказалась разрывной. Увезли старика в инвалидный дом.

В память остались только певенские ножи.